

Через межу

— Бакенщик! Телята тут ходят?

Круглолицый парень, усердно обстругивавший черемуховый прутик, даже вздрогнул от неожиданности и быстро повернул голову.

На тропинке, по которой он обычно поднимался от реки к лесу, стояла женщина с корзинкой. Женщина была в лаптях, в сарафане неопределенного «старушечьего» цвета и в белом, повязанном уточкой платке. Будничный крестьянский наряд, однако, казался малоподходящим к яркому лицу и всей стройной, ловкой и подвижной фигуре. Парень даже застыдился своей выгоревшей на солнце рубахи и обтрепанных галифе защитного цвета.

— Глухой, что ли? Тебя спрашивают. Телят видел тут около будки?

— Ходят какие-то. Каждый вечер около будки спят.

— Сколько их?

— Да пять голов. Не прибыло, не ubyло. Днем где-то по лесу путаются, а как вечер, так сюда и вылезут. Грудкой тут и спят. Видно, около человека им веселее.

— Один живешь?

— Один.

— Тоскливо, поди?

— Приходи вечерком. Сама увидишь, тоскливо ли.

— Замолол, — строго остановила женщина. — Его добром спрашивают!

— Что больно сердита?! Пошутить нельзя.

— Худые твои шутки. Человека в глаза не видал, а сейчас языком повел куда не надо.

— Ты и познакомься, чем ругаться. Подходи поближе, посидим, поговорим. Ты мне, я тебе расскажу, вот и выйдет знакомство. Не к спеху тебе с ягодами-то.

— Ласкобай ты, гляжу! Научился девок подманивать.

— Не ходят тут. Когда и появятся, так грудкой. Куда мне. Лучше постарше, да одну. Спускайся. Не скажу мужу-то.

— Нет у меня мужика. Вдова я.

— О-о! Тоже невесело живешь? Самая пара мне, горюну. Иди — чайку попьем. Ягоды твои, еда моя. Воды принесу, огонек готовый. Ладно?

— Дешевкой хочешь обойтись...

— Подкину коли. Для молоденькой не жалко. Чай у меня всех сортов. Фамильный... поджаренная морковка из бабкиного огорода, и фруктовый есть — земляничный, брусничный, черничный... Из прошлогоднего сору граблями нагреб. Куча! Густо заварить можно. Сахар есть. Из паренок конфетки вырежем. Не хуже шоколадных. Иди!

— Ну-ну, язык у тебя бойко ходит, — улыбнулась женщина и стала спускаться по песчаной тропинке к будке.

Будка бакенщика ничем не отличалась от сотен других, поставленных вдоль берегов многоводной, но все еще пустынной северной реки. Место выбрано на пригорке, чтобы можно было хорошо видеть все опознавательные знаки участка: два бакена, две вехи и перевальный столб. Ниже к берегу, вправо, на серой широкой полосе гравия блестело водяное окно. От него до воды тянулась мокрая дорожка. Это безымянный ключ. От него и будка называлась — «У ключа».

Водная равнина блестит миллионами маленьких зеркал, будто плавится под горячим июльским солнцем. Глаз отдыхает лишь на кудрявой кайме противоположного низкого берега. На всем огромном просторе, который охватывает глаз, ни одного признака жилья. О человеческой жизни говорят лишь сигнальные знаки на реке и берегу, да внизу маячит дымок.

Не скоро придет этот пароход. Он еще будет приваливать у деревни Котловины, которая скрылась за лесистым мыском. До этой пристани от будки считается шесть километров. Выше по реке, в пяти километрах, целый куст мелких деревушек, домов по двадцать — тридцать каждая. Но ни одной из них тоже не видно из-за леса и прихотливых извивов береговой линии.

Будка пришлась почти в центре пустынного лесного участка, который тянется вдоль берега километров на десять-одиннадцать от Нагорья до Котловины.

Лес этот раньше, до революции, принадлежал «большим барам» Шуваловым и назывался гордым именем охотничьего заповедника. На самом деле это была

только громкая марка. У самого берега на высоком песчаном гребне растет действительно великолепный лес, а дальше по «нотным» местам уже начинался мендач, переходивший в корявую болотную растительность. Цепь торфяных болот и сделала этот участок заповедником.

Подойдя к крылечку будки, женщина спокойно протянула руку.

— Здравствуй, балакирь! Звать-то не знаю как.

— Иваном кличут, а батька Савелий. Складывай, коли понадобится. Иные и Ваней зовут. На молоденьких не обижаюсь. По фамилии Кочетков. А ваше имячко как будет? — неожиданно перешел парень на вы и почему-то покраснел.

Женщина заметила этот переход и это смущение. В больших серых глазах промелькнули искорки довольства.

— Фаиной меня зовут... Фая.

— Фая хорошо, а Фаина вроде монашеского.

— Что поделаешь! Поп такое выдумал. Сама не выбирала.

— А по отчеству как?

— Никоновна, — быстро сказала женщина и, в свою очередь, смутилась. Парню показалось, что он понял причину смущения, но он сделал вид, будто ничего не заметил, и опять перешел на тон балагура.

— Вот и познакомились. Анкеты заполнены, только одной фамилии недостает. Иван Савельевич — Фаина Никоновна... Один холостой, другая безмужняя. Чем не пара? Хоть сейчас записывайся. Можно и без записи. Я на это пойду. Себя не пожалею.

— Знаешь, давай без баловства, — попросила женщина. — Не за тем пришла, чтобы пустяки слушать. Поговорим по-хорошему. Только напоил бы ты меня сперва. Вода, говорят, тут у тебя хорошая. Жарко...

— Это в момент. Самой холодной принесу. — И парень, ухватив с костерка большой жестяной чайник, захрустел босыми ногами по гравию.

Пока бакенщик ходил к роднику, женщина успела осмотреть все его несложное хозяйство.

Избушка двумя маленькими окошками смотрела вверх и вниз по реке. Прямо против входа, у стены, стол и около него три табуретки. На столе стопка

книжек, химический карандаш и какой-то стаканчик. Над столом портрет Ленина «За чтением „Правды“». Справа от входа маленькая печурка. За ней вдоль стены широкая скамья с мешком-сенничком и коричневой подушкой. Над постелью белый шкафчик вроде больничного.

— Тут у него, видно, посуда и чай всех сортов, — улыбнулась женщина.

Вдоль левой стены избушки длинная широкая скамья. Над ней, ближе к окну, два ряда деревянных брусьев с гнездами, в которых размещены разного размера ножи, стамески, шилья и другой инструмент корзиночника. В самом углу на скамье большая корзина с грибами.

Женщина поставила было сюда и свою с ягодами, но поспешно взяла ее опять на руку. Направляясь к выходу, взглянула на развешанную по гвоздям одежду, среди которой центральное место занимал зипун из домотканого сукна. С порога еще раз обвела взглядом покрашенные по бревнам стены, остановилась на плакате «Как крепить канат» и вслух оценила:

— Чисто живет! — Потом улыбнулась: — Иван... Савельич... Кочетков.

С крыльца было видно, что Кочетков шел обратно, заметно прихрамывая на правую ногу. Фаина поставила корзину на широкий брус крыльца, закрыла ягоды головным платком, поправила волосы и подошла к огнищу, который едва дымился. Сгребла угли грудкой, уложила в середину лежавший тут железный прутик-жигало, раздула угли, бросила пучок сухой ивовой коры и, когда весело заиграл огонек, принесла из поленницы от крыльца охапку мелких дровец.

Мимоходом заметила, что между поленницей и стеной будки — в тени — стояло большое деревянное корыто с водой, где замочены ивовые прутья.

— Хозяйство... Ни за избушкой, ни перед избушкой сору большого нет, — одобрила Фаина и села на ступеньки крыльца, где до этого сидел бакенщик. Перебрав разбросанные тут деревяшки, догадалась, что бакенщик делал трубку.

— Чудной он все-таки. Молодой, а живет тут один и трубку вон мастерит. Как старик какой! Может, из-за ноги-то...

Кочетков нес в одной руке чайник, в другой какой-то бесформенный серо-грязный кусок.

— Нашлась моя потеря.

— Какая потеря?

— Да так, пустяки. Потом расскажу, — и, поставив чайник на крыльцо, поспешно ушел в избушку, принес чашку с синим ободком, налил и подал гостю с шутливым поклоном: — Кушай на здоровье! Водичка первый сорт. Мертвого обмыть — так встанет, а молоденький умоется — плясать пойдет. На Кавказ ездить не надо. Каждый день приходи. Хоть пей, хоть обливайся.

Женщина жадно выпила две чашки, обтерла губы рукой, смахнула с груди крупные капли и только тогда засмеялась.

— Простой ты на воду, а сам звал чай пить!

— За этим дело не станет. Живое вскипит. А какой сорт заваривать, сама выбирай. Женщине в этом деле виднее. — И Кочетков стал устанавливать чайник на рогульках над огнем.

— Где у тебя чай-то твой?

— Там, — указал он на избушку. — На стене шкафчик есть. В нем по сортам разложены. Там же сахар, картошка, посуда.

Когда Фаина ушла в избушку, Кочеткова нестерпимо потянуло туда же, но он вспомнил ее серьезную просьбу, строгие глаза при вольных шутках и остался.

Фаина вышла с посудиною и деловито спросила:

— За тенью собрать? По ту сторону будки?

— Как тебе лучше, — поспешил согласиться Кочетков и подумал: «Как жена спрашивает».

Фаина вновь показалась из-за будки и тем же тоном спросила:

— Зипун твой расстелю?

— Хозяйкино дело, как на стол соберет, — пошутил Кочетков.

— Опять ты! Брось, говорю... Не ходи в эту сторону!

— Да я вроде как всерьез.

— То-то, вроде. Скорый больно. Повременить надо.

— До которой поры? Давно мне жениться время. Надоело в холостых ходить.

— Давно ты холостой? — спросила женщина, и в голосе слышалась необычная нотка.

— Отродясь холостой! По-честному говорю. Этому богу, чтоб жениться да разжениваться, не верую.

— Ой, врешь, Иван Савельевич! Знаем, поди, в каких годах парни по деревням женятся. Ты из той поры вышел. Кто тебе поверит.

— Хоть верь, хоть нет, а так вышло. Недаром тут сижу. Думаешь, весело семь дней дежурить. Кроме матерка с плотов, слова живого не услышишь. Попробуй, посиди... Готово! — вдруг закричал он. — Иди заваривай да команду принимай!

— Сейчас! — крикнула Фаина из-за будки и подошла с блюдцем, на котором лежали две неровные щепотки.

— Морковного для цвету, земляничного для запаху — вот и ладно будет, — проговорила она и «приняла команду».

Теневой треугольник за будкой удивил Кочеткова: так все показалось ему необычным. Даже его собственный зипунишко, раскинутый веером, смотрел привлекательно. Посуду пополнили широкие листья папоротника. На них холодный картофель, соль, ягоды, черный хлеб, откуда-то появившийся белый калач, нарезанный ровными кусками, и пара яиц.

— Садись, хозяин, — гостем будешь, — пошутила Фаина. Было заметно, что она довольна произведенным впечатлением.

— Может, уху бы сварить? — предложил Кочетков. — Рыба у нас всегда есть. Живая... Вон там около заездка.

— Долгое дело. Съешь вот яичко, картофель в соль макни, и будем чаек попивать. С калачом... С ягодами... С разговором, — особо подчеркнула она последнее слово.

— О чем это?

— Поешь сначала, потом спрашивать стану.

Получив после еды из рук Фаины чашку с горячей жидкостью, кусочек сахара и калач, Кочетков напомнил:

— Ну, спрашивай.

— Расскажи вот, как ты в бакенщики попал? Такой молодой за стариковское дело сел?

— Да, видишь, бедность наша, — серьезно проговорил парень. — Ты это верно сказала, что в мои годы по деревням давно семьями обзаводятся, а как женишься да и кто за тебя пойдет... Сама посуди. В семье девять едоков, отец инвалид, мать хвора, еле по дому управляется, а работников только двое: я да сестренка старшенькая, по семнадцатому году. Лошаденка стрень-брень, коровы вовсе нет. Мастерства, кроме крестьянского, не знаю, грамота слабая, да еще и нога не в порядке. Вот и женись!

— Что у тебя с ногой-то? — участливо спросила Фаина.

— Это у меня от гражданской войны осталось...

— Ты разве воевал? — удивилась Фаина.

— Нет, я в ту пору подлетком был. По четырнадцатому году. А как тятя ушел с Красной Армией, на нас налетели. Я хотел спрятаться, да меня один наш же деревенский кулачище нашел и с сарая сбросил. Ногу я тут и сломал. Срослась она, только маленько неправильно. В армию из-за этого не приняли, подучиться не дали. А кулак тот сбежал вместе с колчаковцами. Может, и теперь живет, да ведь не узнаешь. Всю, можно сказать, жизнь испортил. Гонялся я за ним, да с дороги воротили.

— Как это?

— Когда наши обратно шли, я добровольцем объявился. Ростом-то, видишь, не из мелких, меня и приняли. Просто тогда с этим было. До Тюмени дошел, а там отчислили.

«Ворочайся, говорят, парнишка, домой. Молодых там организуй!»

Тут еще с отцом встретился. Он тоже домой направляет:

«Матери хоть поможешь, а то она совсем извелась на работе».

Так у меня с этим и не вышло, и дома толку не получилось. Недавно вон приезжал к нам один знакомый из окружного комитету, стыдил нас с отцом. «Какие, говорит, вы партийцы, коли у вас в деревне артели нет». А что сделаешь? Народишко-то у нас пригородный. На базаре привык сидеть больше, либо при реке какой случай ждут, чтоб сорвать. Дачником тоже разбалованы. Теперь, правда, с дачником на убыль пошло. По домам отдыха больше разъезжаются, а в отдельности по дачам редко кто живет.

— Это же и у нас, — подтвердила Фаина. — Земляника поспела, а в деревне только три приезжих семьи. А насчет спекулянтства да речного варначества промашки не дают.

— Вот я и придумал сюда поступить. Спрашивали тут человека. Все-таки тридцать три рубля в месяц и приварок готовый: грибов сколько хочешь, рыба есть, ягоды собираю. Корзины тоже плету — все копейка, а главное, при доме. Отоспишься здесь за дежурство, дома и воротишь без передыху. А дело какое? Ходовая борозда тут широкая, надежная. Меньше двух метров глубины не бывает, перекатов нет. Когда-когда плотом белый бакен срежет. Поставишь его, за вехами следишь да вечером огни зажигаешь. Вовсе спокойное место. Только скука донимает. Одуреешь за неделю. То вот и присваиваюсь.

Вздыхнув, Кочетков продолжал:

— По-доброму отцу бы тут сидеть, да не может на столб залезать. На тот вон, — и пояснил: — фонарь зажигать и знаки переставлять.

— Знаю я, — откликнулась Фаина. — В Нагорье как раз против перевального столба живем. Присмотрелась. Большой шар — метр, крестовина — двадцать сантиметров, маленький шарик — пять. Всю работу изучила. Одно не знаю, как место узнавать, когда бакен плотом своротит. За этим вот к тебе и подошла, не научишь ли?

— Отчего не научить, только на что тебе?

— Дело-то у меня, парень, не лучше твоего, — и Фаина рассказала свою историю.

На эту угрюмую северную реку пришла она в голодный год с матерью. Мать тут большую промашку сделала — замуж вышла. Годы уж немолодые, а ребят прижила. Ее мужа в третьем году разбило параличом, и этот больной всех окончательно связал. Хозяйство, какое было, давно пролечили и проели. Теперь всю семью «прибрал» деревенский богатеи, которому параличный в каком-то родстве.

— Не без расчета сделано, — пояснила Фаина. — Нам дал малуху под сараем. Все равно ее ни один дачник не возьмет. Ну, едим тоже у него. И за это с матерью круглый год работаем, а платы никакой. Он же из-за нас в сельсовете приbedняется. «Чужую семью, говорит, кормлю. Пять ртов, а работы спросить не с кого. Навязал себе камень на шею, да который год с ним и хожу».

— Ходит он! — сверкнула Фаина глазами. — Забыла, как ботинки носят, в лаптях шлепаю. А кто скажет, что на работу ленива. Обноски старушечьи переворачиваю да ношу, — рванула она себя за проймы сарафана. — Ножом бы полыснуть такого благодетеля, да мамыньки жалко.

И Фаина, может быть, неожиданно для себя, добавила:

— Видишь, незаконная я у ней. Сколько она из-за меня раньше горя-позора приняла. Вот и жалко теперь оставить.

— Да-а, — посочувствовал Кочетков: — чистая петля. Вдовая, говоришь, сама-то?

— Давно уж вдовая. Совсем молоденькой выходила. В гражданскую войну моего Васеньку убили. Ничем не похаю. Хорош у меня муженек был. На фабрике в Бронницах... городок такой около Москвы есть... работал. В девятнадцатом году ушел на южный фронт, да только его и видела. Сюда уж вдовой приехала. Нахвалили: «хлеба да хлеба там», а вышло — одно горе хлебаем.

— Здесь не выходила?

— Пробовала, да удачи не вышло. Пьянчужка попался. Бить меня лезет, а я этого не дозволю. Отмутузила его самого пьяного катком и ушла. Теперь еще похваляется, — убью, говорит. На этом зареклась. Да и верно, за кого выходить-то в наших деревнях? Пригородные ведь, да еще при реке. Одни спекулянтствуют, а те, кто около реки бьется, — запились. И от дачников много разврату идет. Теперь вот их — дачников-то — мало, так иные рады с дачей хоть мужа, хоть жену сдать, лишь бы дачника приманить. Какие это крестьяне! Двенадцатый год советской власти идет, а у нас кулак в деревне все еще верховодит, только похитрее стал. Наш-то вон хозяин у себя внизу ясли открыл. Слава одна, а на деле советскую власть обмануть норовит.

— Такой же порядок, как у нас. Крестьянское хозяйство — видимость одна. По всем береговым деревням это же, — подтвердил Кочетков.

— Веришь? — заговорила опять Фаина: — До чего надоели эти спекулянты! Не смотрела бы! Только и передышки, что в воскресенье в лес уйдешь.

— Одна ходишь? Не боишься?

— Не из трусливых. От одного отобьюсь, а больше налезут, товарища позову, — и перед Кочетковым сверкнул широкий нож с плотно охватывающим рукою ремешком у черенка.

Кочетков даже отодвинулся и поперхнулся от изумления, а гостя похвалилась: «Бритва», и, сильно вытянувшись всем телом, черкнула ножом по кусту папоротника. Узорные листья на миг оставались неподвижными, потом разом посыпались, образуя почти правильный круг.

— Вот ты какая, — удивился Кочетков.

— Станешь такой, — усмехнулась Фаина с злым блеском в глазах, а нож уж исчез так же незаметно, как появился.

«Как у пароходного фокусника, — подумал Кочетков. — Злющая, надо полагать. Очень просто кишки выпустит, а то и по горлу цапнет».

Быстрые руки между тем заняты были самым мирным делом: перебирали освободившуюся после чаепития посуду, укладывали в мешочек сахар, завертывали в листья папоротника оставшийся хлеб, картофель. Казалось, что ножа не было, как не было и злого блеска в глазах, но ровная линия среза куста говорила, что нож хорошо отточен, а рука сильна и ловка.

«Довели бабу», — смягчил свою оценку Кочетков.

Точно читая его мысли, Фаина проговорила:

— Ты не думай худого... Около матерого волка живу... Нельзя мне без этого.

— У кого живешь?

— Евстюху Поскотина в Нагорье слышал?

— Бурого-то?

— Ну, он и есть, наш благодетель. Без ножа спать не ложусь. И мужишко бывший грозитя. Кисляк он, а все-таки...

— Понимаю... А без ножика как? — улыбнулся Кочетков. — Молодое ведь дело-то...

— Говорю, с души воротит глядеть на наших деревенских. Давно бы ушла в город либо на фабрику, если бы не такое мое положение. Давеча осмотрела твоё хозяйство здешнее и позавидовала. Хоть бы лето мне так пожить с мамынькой. Дежурить бы без подмена стала.

— В бакенщики, что ли, хочешь поступать?

— Охота бы. То и прошу, чтобы все показал.

— Что ж, давай сплаваем. На месте все покажу. Только вот покурю из своей обновки. С утра у меня пост на табачок вышел. — И Кочетков, направив и закулив трубку, коротко пригласил: — Пойдем.

Дорогой он оживленно стал рассказывать.

— Утром принимал смену. Обошли участок, зашли в избушку, покурили, и другой бакенщик-старик уплыл на своей лодке. Как раз в это время буксир

тянул плот, а навстречу шел дачный пароход. При таких встречах чаще всего плотами бакены режет, поэтому пришлось простоять на берегу, пока не разминутся. Обошлось благополучно, но волна показала, что дальний кол заездки еле держится. Занялся этим. Потом пришел к будке, развел костер, сходил на ключ, зачерпнул воды, поставил чайник. Хватился покурить, — нет бумаги. Обыскал себя, в будке все углы обшарил — нигде. А бумага была — четыре листа, запас на неделю. Со стариком из нее завертывали. Решил, что дедко по ошибке положил себе в карман. Делать нечего, придумал трубку сделать. Без привычки долго провозился, а ты пришла — нашлась моя потеря.

— Где?

— А как стал из чайника воду выливать, гляжу — охлопья какие-то. Это и есть моя бумага. Как она в чайник попала — не пойму. Старик, видно, сунул в пустой чайник. У него есть такая привычка в руках что-нибудь мозолить, когда разговаривает. Понимаешь, не просто намокла бумага-то, а совсем расплзлась. Положил вон сушить, да едва ли толк будет.

— Какой уж толк. На игрушки только...

— Какие игрушки?

— А как же. Из такой бумаги много чего делается. Сама в детстве работала — знаю. У нас под Бронницами по деревням сильно этим занимались.

— Как это? — заинтересовался Кочетков.

— Да дело нехитрое. Покупали разную негодную бумагу. Тетради там исписанные, старые газеты, бумажную обрезь — и в котел. Варили с клеевой водой и размешивали, чтобы как жидкая каша стала. К этому прибавляли мелу, а то и глины. Получалось тесто, папье-маше называется. Им — этим тестом — и набивали разные формочки. Бывало и проще делали, без котлов. Вымажешь форму маслом и набиваешь ее размоченной в клеевой воде либо в клейстере бумагой. Как попало... Половинки склеят, выкрасят, отлакируют и на базар. Дешевые игрушки были. Легонькие такие. Лошадки, коровки, головки кукольные...

— Видал. Раньше их много было, а теперь что-то не часто видишь.

— Перестали, видно, делать. Кто первый успел, так большие деньги нажил, а потом чуть не все кинулись на это ремесло, игрушки и вздешевели. Из-за бумаги тоже стало трудно. Один у другого отбивал. Это еще до революции так-то, а теперь негодную бумагу, я слыхала, всю на фабрики сдают.

— Слушай, а ты не видала, как бумагу делают?

— Нет, не случалось. Знаю, что из тряпья. Тоже разваривают в котлах, отбеливают чем-то и черпают ситами особыми. Вода стекает, а разваренное тряпье остается тоненьким таким слоем... Как бумажный лист. Теперь, говорят, из дерева научились делать. И машинами, а не ситами.

— Из какого дерева?

— Из всякого будто.

— Из этого леса? Скажешь! Ха-ха-ха, — засмеялся Кочетков. — Тоже разварят его? А? Мне приходится березу загибать на рамы к коробьям, так я знаю, как лес-то разваривать. Паришь его, паришь, — а только и всего, что согнешь полегче. Так ведь то береза, толщиной в руку, а тут вон какие столбы стоят! Никогда не поверю, чтобы такой лес в кашу разварить можно. Что-нибудь не так сказываешь, — прибавил Кочетков, заметив, что Фаина обижена его смехом и недоверием.

— С кислотой, говорят, разваривают.

— А-а... Это дело другое, — согласился Кочетков, но было заметно, что сомнение осталось.

— Много же кислоты-то понадобится, — сказал он, усаживаясь в лодку.

— Ты вот смеешься, а Евстюха уж барыши считает. Четвертого дня нас малухой своей попрекал. Скоро, говорит, в барском лесу бумажную фабрику строить будут. Такая квартира сколько тогда будет стоить. А вы на готовеньком живете, работы не видать, а еще которые и нос воротят. Это он про меня...

— Брехня, поди, про фабрику-то?

— Кто знает. Постоянно ведь он в городе бывает. Знакомство у него везде. Разнюхает вперед других.

— Так это, — согласился парень и налег на весла, кинув Фаине: — держи на красный.

Когда подходили к бакену, Кочетков размечтался вслух:

— Хорошо бы, фабрику-то! Мастерство какое-нибудь узнал бы обязательно.

— То же и я думаю, — отозвалась Фаина, — а пока объясняй свое дело.

На реке пробыли два часа, потом ходили по берегу. Кочетков самым подробным образом рассказал о своей работе и особенно о всех трудных случаях. Фаина слушала внимательно, переспрашивала, проверяла на опыте. «Для практики» даже залезла по боковой качающейся лесенке на перевальный столб, не смущаясь тем, что Кочетков подсмеивался над ее не приспособленной для лазанья одеждой.

Прежнего настороженного отношения к шуткам Кочеткова у Фаины не было. Она давно поняла, что добродушный хороший парень своими грубоватыми шутками пытается скрыть смущение.

— Эх ты, телок! — оценила она одну из шуток Кочеткова. — Недаром евстюхины телята к тебе льнут. Сколько тебе годов-то?

— Двадцать семь, — с серьезным видом ответил Кочетков, но Фаина звонко расхохоталась.

— Забыл, что рассказывал? В восемнадцатом году по четырнадцатому году был. Да и мало прибавил. Все равно до меня не дотянуться, — лукаво прищурилась она.

— Тебе сколько?

— Мои-то годы легко считать. Никогда не забудешь. В семнадцатом году семнадцатый шел, а теперь...

— Двадцать девятый...

— То-то и есть, двадцать девятый. Тебе до моих годов не меньше пяти лет тянуться, мальчишечко! — И Фаина неожиданно мазнула Кочеткова рукой по пухлым, по-ребячьи оттопыренным губам. — Губошлеп!

Поняв этот жест, как разрешение к действию, Кочетков быстро ухватил Фаину за талию, но Фаина легко вывернулась и совсем другим тоном проговорила:

— Пора, видно, мне уходить, а то, пожалуй, рассоримся.

И она быстро зашагала к будке, за корзиной. Аккуратно повязала платок, вскинула корзину на руку и крикнула:

— Ну, я пошла. За науку спасибо!

Кочетков, все еще стоявший на прежнем месте, побежал догонять.

— Подожди, Фая... Не сердись... Не буду я... Когда придешь?

— Раньше того воскресенья не вырваться, а там смена не твоя. Полмесяца, видно, не увидимся.

— Долго... Приходи скорее! Урви часок... Ждать буду.

— Ну, ладно. Может, и приду... Телят попроведать, — улыбнулась она.

— Зачем хоть здесь их держите?

— Евстюхины хитрости. Не записаны они у него в налог. Понял? Ну, прощай пока.

— Поцеловала бы хоть!

— Ладно и так. Еще во сне увидишь тебя... толстогубого. — И Фаина опять быстрым движением мазнула растерявшегося парня по губам и сейчас же предупредила: — За мной не ходи. Дальние провода — лишние слезы.

Уже скрывшись в лесу, крикнула:

— Дня через два приду. Думай пока... как бумагу делают.